

**БОРИС
ЗЕМЦОВ**



**СОЧЕЛЬНИК
СТРОГОГО
РЕЖИМА**

ТЮРЕМНО-ЛАГЕРНЫЕ БЫЛИ

Борис Земцов

**Сочельник строгого режима.
Тюремно-лагерные были**

«Книжный мир»

2023

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)4 67.409.01

Земцов Б. Ю.

Сочельник строгого режима. Тюремно-лагерные были /
Б. Ю. Земцов — «Книжный мир», 2023

ISBN 978-5 6049758-8-6

«Хороших тюрем не бывает...» «Сидеть тяжело...» Пока сам не попробуешь, народные истины веселят, развлекают. Но вот жизнь круто переменялась, всё покатило вразброд, удача оставила - и вы оказались в местах не столь отдаленных... Как приспособиться к бытию за решеткой? К чему себя готовить? Русский доброволец Борис Земцов, воевавший в Югославии за Русское Дело, за Славянский мир, вернувшись на родину, был оклеветан «либеральным» столичным истеблишментом, по ложному навету осужден и отправлен в «зону»... В цикле тюремно-лагерных былей писатель прорисовывает нелюбимую картину тюремного быта и объясняет единственно приемлемую систему человеческих взаимоотношений на ограниченном пространстве «казенного дома». Автор знает, о чём пишет: он прошел через это сам и видел всё изнутри. Книга предназначена для широкого круга читателей, не боящихся житейских трудностей и готовящих себя к борьбе за Великую Россию на фронтах необъявленной гибридной мировой войны.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)4 67.409.01

ISBN 978-5 6049758-8-6

© Земцов Б. Ю., 2023

© Книжный мир, 2023

Содержание

Диагноз. Рецепт. Руководство Предисловие полковника В. В. Квачкова	7
Субботничек	9
Злой привет от майора Кузи	14
Улетевший с белыми птицами	19
Чёрный зверь, лежащий на боку	31
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Борис Земцов
Сочельник строгого режима.
Тюремно-лагерные были

© Земцов Б. Ю., 2023

© Книжный мир, 2023

© ИП Лобанова О. В., 2023

* * *

Диагноз. Рецепт. Руководство Предисловие полковника В. В. Квачкова

Сборник рассказов Бориса Земцова на тюремно-лагерные темы «Сочельник строгого режима» важно прочитать каждому соотечественнику. Независимо от социального положения, возраста, наличия высшего или любого прочего образования. Рекомендую не потому, что сам пробыл в тюрьмах и лагерях 11 лет, и кроме «родной» колонии ИК-5 в Мордовии позади ещё шесть СИЗО, в том числе три московских, две тюремные больнички и две «психушки». Несмотря на особый тюремный язык, в котором жил Б. Земцов и его сокамерники, автор не скатился на употребление жаргонного стиля, дабы показать свою осведомлённость, рассказы написаны правильным русским языком, в лучших традициях отечественной художественной литературы и поэтому, многие из них, благодаря увлекательным сюжетам, читаются «на одном дыхании». Но куда важнее и актуальней, что содержание этих рассказов – своего рода социальный срез общества, частью которого сегодня являемся и мы с вами.

По сути, книга Бориса Земцова – это точный и беспристрастный пейзаж сегодняшнего российского государства со всеми его плюсами и минусами, достижениями и пороками, перспективами и тупиками. Внимательный и думающий читатель наверняка обнаружит в этих рассказах и ответы на вечные национальные вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?». Вольно или невольно, на собственном примере и на примерах судеб своих товарищей «по неволе», сокамерников и солагерников, автор даёт и оценку нынешнего состояния правоохранительной системы в России, качеству правосудия в нашем государстве. Соответственно ставится диагноз нашему государству и обществу. Диагноз безжалостный, но объективный и аргументированный. Этот диагноз я, как человек, не понаслышке знающий, что такое «камера», «этап», «зона», полностью подтверждаю. Очень показательно, вроде как вскользь обронённое, но такое точное, опять очень личное наблюдение автора из рассказа «Ангел на пальме»: «В “пятёрке”, в СИЗО № 5, где до приговора отсидел почти полгода, сменил он три камеры. За это время прошло перед ним больше сотни арестантских судеб. И не одна эта судьба не была озарена торжеством справедливости или счастливого послабления. Это означало, что никто ни из одной камеры на волю не вышел: все только на этап, только в зону, только из одной разновидности неволи в другую».

Самое время вспомнить, что процент оправдательных приговоров в нынешнем российском правосудии на порядки ниже, чем в сталинские времена, из которых по-прежнему пытаются делать «страшилку» лукавые либералы. Выходит, нынешние жернова отечественного правосудия крутятся исключительно в одну сторону: на беспощадное перемалывание человеческих судеб. Значит, в руках у сегодняшней нашей Фемиды весов и вовсе нет, значит, в каждой руке у неё только по острому мечу, которыми она без устали крушит и крушит судьбы соотечественников. Тех самых соотечественников, что на воле, у заводского станка, на сельской пашне, на передовой украинского фронта смогли бы быть куда полезней нынешнему российскому государству, чем на нарах, в бараке, в переполненных душных «столыпиных» и «зековозах».

По-своему показателен и очень важен в плане понимания и принципиальной оценки нынешней российской действительности построенный по образцу русской сказки рассказ Бориса Земцова «Как дед Калинин детским писателем стал». Его герой, уже немолодой, досыта нахлебавшийся неволи во всех возможных измерениях бывший зек вдруг пишет книгу о своих злоключениях. Уже готовую рукопись он предлагает в трёх разных издательствах, и ...ото-всюду в гневе и недоумении уходит после мерзких и гадких предложений, в которых безошибочно угадываются стиль и почерк нашего времени. В одном издательстве его просят восхва-

лить нынешнюю исключительно продажную и подлую тюремную систему, в другом сделать реверанс в сторону набирающих нынче тренд содомитов, в третьем воспеть так называемых правозащитников, которые никого никогда не защищали и защищать вовсе, похоже, не собираются. Всем этим предложениям герой даёт принципиальный и жёсткий отпор, он остаётся на высоте, личную «планку» сохраняет, а вот какова, согласно этому повествованию, «планка» нынешнего общества и государства остаётся только догадываться.

Нет смысла пересказывать сюжеты рассказов Бориса Земцова. Их надо читать. И при этом ещё раз убедиться, что главное их достоинство не только в объективном показе, спрятанной для большинства из соотечественников за колючей проволокой, реальности российской неволи. Куда важнее, что эти рассказы учат, как за этой самой колючей проволокой не просто выжить, но и остаться человеком, сохранить порядочность и достоинство. Словом, остаться русским человеком – и на воле, и в неволе.

В недалёком прошлом порядочный арестант полковник Владимир Квачков.

Субботничек

В тюрьме поздняя осень и мрачней и муторней, чем на воле. Это потому что непогода, короткий день и прочие сезонные нерадости накладываются на пронзительное ощущение несвободы и зловещую неопределённость твоего близкого будущего.

В итоге давящая тоска в камере клубилась и расплзалась. Она плотной, вполне осязаемой становилась, даже мерещилось, будто тоска эта всё пространство заполняла и своей массой прочь воздух выдавливала. Хотя, какой воздух в хате ¹, где вместо двенадцати постояльцев больше двадцати набито, где круглые сутки курят, что-то варят, стирают и сушат, а вместо окон – единственная форточка размером с кошачью голову в глухом углу. Понятно, не воздух здесь был, а спрессованный смрад, и смрадом этим дышали мы круглые сутки, бронхи и лёгкие свои царапая и мозг свой разрушая.

В один из таких тягостных ноябрьских вечеров смотрун ² Серёга Косарь, покуривая у тормозов ³, ненавязчиво, но многозначительно призвал нас, сокамерников:

– У кого возможность есть, затягивайте ⁴ в кабаках ⁵ бумагу белую... Четвёртый формат...

В тюрьме вопросов лишних задавать не принято. Никто и не задавал. Смотрун сам пояснил:

– Хату поклеить надо... Светлее будет...

И добавил совсем не эстетичное и вовсе не толерантное:

– А то живём как у негра в ж...

Не знаю, как там в дебрях негритянских внутренностей, но на нашем, очень ограниченном пространстве, действительно, откровенно темно было. Хата располагалась в полуподвальном этаже здания СИЗО ⁶, уже упомянутая форточка, размером с кошачью голову, едва на уровень асфальта тюремного двора выходила и никакого света не давала. Единственная обосновавшаяся на потолке слабая лампочка просто не в силах была пробить слоистый коктейль испарений и табачного дыма.

Ещё присутствовал в камере никогда не выключаемый телевизор, но он излучал не свет, а пульсирующую ядовитую муть. Понятно, что некогда покрашенные в зелёный цвет и насквозь пропитанные никотином стены выглядели при таком раскладе грязно-бурыми и просветлению пространства вовсе не способствовали. Выходило, ничего не преувеличивал смотрун камеры, оценивая степень освещённости места нашего вынужденного обитания.

Две недели ушло на сбор нужного количества бумаги, день потратился на изготовление клейстера ⁷ из тюремного хлеба, который, кстати, для еды и не сильно пригодным был. Наконец, в один из вечеров, всё так же покуривавший у тех же камерных тормозов Косарь возвестил:

– Вот сегодня и займёмся...

И занялись.

Даже какое-то разумное разделение труда сложилось. Одни процеживали через куски бинта и лоскуты пожертвованной «на общее» простыни клейстер, другие аккуратно смазывали

¹ Хата (тюремн.) – тюремная камера.

² Смотрун (тюремн.) – в данном случае – смотрящий за камерой, опытный авторитетный арестант, назначенный «смотрящим за тюрьмой» для обеспечения внутреннего порядка в камере.

³ Тормоза (тюремн.) – железные двери в тюремной камере.

⁴ Затягивать (тюремн.) – в данном случае обеспечивать доставку с воли в тюрьму каких-либо предметов, продуктов и т. д.

⁵ Кабан (тюремн.) – передача, которую родственники или близкие передают заключённому в тюрьму или в зону.

⁶ СИЗО – судебный изолятор, где содержатся находящиеся под следствием арестанты и арестанты, ожидающие отправки в зону.

⁷ Клейстер – клей, что изготавливается из хлебного мякиша в местах лишения свободы.

им листы бумаги, трети, балансируя, по верхнему ярусу продавленных шконок ⁸, что некогда какой-то особо остроумный арестант назвал «пальмой», клеили эти листы на стены.

В один из моментов коллективного действия, оказался я рядом с Косарем. Почему-то увидел он во мне и слушателя и собеседника. Потому и сообщил с доверительной, очень человеческой интонацией:

– В тюрьме важно, чтобы все люди заняты были... Иначе тёрки, разборки, проблемы всякие...

Возможно, и спорный вывод из области социально-психологических наблюдений, только смотруну видней. Он – арестант бывалый. По первой ходке восемь лет отмотал. По какой-то тяжёлой статье. А сейчас и вовсе с двумя жмурами ⁹ заехал. Детали делюги не совсем традиционные. Во всех смыслах. Вроде как, вышел он из дома вечером с собакой в парк прогуляться. По пути на двух милующихся представителей меньшинств наткнулся. Ну, и... отреагировал. В полном соответствии с собственными понятиями о терпимости, естественности интимной ориентации и активной личной позиции. Возможно, и какие ассоциации по первому сроку обретенные добавились. Перестарался. Итог... два труп. Значит, лет около двадцати, срока, ему теперь, как в тюрьме говорят, корячилось. У меня, первохода ¹⁰, такие цифры, да и события за ними стоящие, в голове пока трудно укладывались. Потому и в разговорах с ним молчал больше. Вот и в тот вечер я диалог разве что деликатным кивком поддержал. Косарю кивка мало было. Ему, похоже, живого слова хотелось. С поддержкой и одобрением, разумеется. Потому смотрун более чем конкретно поинтересовался:

– Как тебе субботничек?

А тут и слова специальные подбирать и, тем более, душой кривить не пришлось.

– Нормально... Светлее в хате стало...

В камере, действительно, от свежее оклеенных белой бумагой стен посветлело. Как в доме утром, когда ночью первый снег выпал.

Удивительно, что и простора в нашей перенаселённой хате прибавилось. Будто кто стены раздвинул и потолок приподнял, а шконоари двухъярусные, что основное пространство между собой делили, в размерах урезал и в пол втопил. Показалось, даже дышать легче стало, хотя тюремный смрад на вольный воздух никто здесь не заменял, да и возможно ли такое в месте нашего принудительного обитания?

И ещё одна деталь на себя внимание настырно разворачивала.

На одной из стен прилепился в нашей хате иконостас кустарный, из бумажных иконок разных сюжетов и размеров составленный. Он нам в наследство от прежних постояльцев достался.

Казалось, что не так часто мы на него внимание обращали. Можно было даже предположить, будто иконостас – вовсе лишняя деталь нашего специфического интерьера. Тем более, что и вечно курили с ним рядом впритык, тут же и забористо матерились.

Про иконы вспоминали всё больше по потребительской необходимости: подходили желающие приложиться или перекреститься, когда на суд кому за приговором ехать или кому на этап отправляться.

Получалось, не сильно как расположены к православию обитатели нашей камеры. Но так только до поклейки стен представлялось. Своими глазами видел, с какой трепетной аккуратностью арестанты с иконостасом обошлись, как листы бережно подрезали, белоснежное поле вокруг обеспечивая. Больше того, пришло кому-то в голову собрание иконок украсить. Из

⁸ Шконка, шконоарь (тюремн.) – сварная металлическая одно- или двухэтажная кровать в местах лишения свободы.

⁹ Жмур – труп, человек, погибший насильственной смертью. «Заехать с двумя жмурами» – значит попасть в тюрьму или на зону, совершив двойное убийство.

¹⁰ Первоход – человек, впервые попавший в места лишения свободы.

фольги серебряной, что основу молочного пакета составляла, затейливый орнамент вырезали, по периметру расположили. Тем же клейстером приклеили. Совсем по-другому, нарядно и даже величественно смотрелся теперь самодельный, ранее такой неказистый, иконостас. Даже совестно стало за недавний поспешный вывод о, якобы, невысоком уровне религиозного чувства в сознании сокамерников. Впрочем, с какой стати я себя самого из всего населения хаты выделять буду? И моя Вера была на тот момент и неокрепшей и неуверенной, и до полного понимания сути Веры Православной, ох как, далеко тогда было...

Засыпая, окинул взглядом и подсвеченное новым, едва ли не торжественным, светом пространство нашей камеры и по-новому воспринимаемый теперь кустарный иконостас. Успел даже предположить, что между свежееклеенными стенами и обновлённым иконостасом, возможно, существует таинственная, но очень прочная и важная связь. От таких мыслей, кажется, со светлой улыбкой и заснул я в ту ночь.

А проснулся от... разноголосого мата. Ругались многие: и те, кто проснулся раньше меня, и те, кто вовсе не спал в ту ночь, дожидаясь своей очереди занять шконарь, потому как не у каждого в нашей перенаселённой камере было своё постоянное спальное место. Ругались, потому что видели, как накануне с таким трудом приклеенные бумажные листы формата А4 один за одним отделялись от стен камеры и, тяжело планируя, а то и просто шмякаясь, падали вниз. Одни из них оставались на пальме, другие, выделявая причудливый манёвр, залетали на первый ярус шконарей, третьи ложились на пол, образуя причудливую мозаику. Белыми эти листы уже не были. Серый цвет, вперемешку с мрачно-бурым, с грязно-голубым и угрюмо-синим, преобладал в них.

Спросонья я не мог понять сути и причин происходящего. Казалось, кто-то невидимый, многорукий, когтистый и ловкий отдирает и отбрасывает прочь результаты нашего хлопотного и, как успело показаться, даже возвышенного труда. Непонимание длилось недолго. Звучавшие в промежутках между матерными восклицаниями комментарии прояснили ситуацию.

- Забыли, что стены сырые...
- По мокрым стенам клестер и сполз...
- Листы воды набрали и попадали...

За это совсем короткое время успел отметить, что освобождающиеся от накануне приклеенных, уже вроде как и не белых, бумажных квадратов стены выглядят ещё хуже, чем до коллективного действия, названного смотрящим нашим субботничком. Показалось, что грязней и мрачней они стали. Заодно представилось, будто накануне, вроде как раздавшаяся в объёме камера не просто вернулась в прежние свои параметры, а ещё более скукожилась, стала уже и ниже. На миг даже померещилось, что покидающие стены бумажные листы забирают с собою и то, что очень условно считалось в камере воздухом, чем мы вынуждены были дышать, бронхи и лёгкие свои царапая и мозг свой разрушая. Будто, ещё минута, и вовсе не останется ничего, пригодного для дыхания, и навалится на нас не какое-то, а смертное удушье, от которого ни отсрочки, ни спасения.

Проснувшийся позднее смотрун Косарь, в случившемся сориентировался быстро, несколько не удивился, только коротко выругался. Позднее, закурив на своём привычном месте у тормозов, озвучил собственную версию неудачного финала субботника:

- Клейстер жидковат оказался... Надо было круче заваривать...

Не дождавшись реакции на сказанное, продолжил:

– Или клей надо было вольный затягивать... Этот хлеб ни жрать, ни на клейстер не годится...

Ближе к обеду тяжёлые и липкие от клейстера листы собрали в служивший в камере мусорным ведром картонный ящик с неровно оборванными краями. Какого цвета стали эти листы, внимания никто не обратил. Никто в разговорах не возвращался и к теме вчерашнего субботничка. Разве что уже вечером самый пожилой из нас, дед Гордей, заехавший за крова-

вую разборку с соседом по коммуналке, в которой фигурировали и пустая бутылка, и уют, и лыжная палка, поправив скреплённые грязной резинкой очки, сказал, ни к кому не обращаясь:

– Беды эти стены столько в себя впитали, что белый цвет им ни к чему... Отвергли они его... А где цвет – там и свет...

Не было ясности, был ли дед Гордей в той разборке потерпевшим или совсем наоборот, зато была у него на тот момент в хате снисходительная репутация то ли баптиста, то ли слегка сумасшедшего. Потому что часто листал он какую-то книгу без обложки, и порою сам с собой разговаривал, с головой накрывшись на шконаре в самом углу, у той самой форточки размером с кошачью голову.

Возможно, поэтому никто разговор и не поддержал.

Про беду, похоже, он очень кстати вспомнил. Слово «беда» в неволе свой особенный смысл имеет. «Беда» здесь – то же, что и «делюга», короче, синоним состава преступления. У каждого переступающего порог тюремной камеры просят не статью обвинения назвать, а так и спрашивают:

– Какая у тебя беда?

Тут лишь в очередной раз удивиться оставалось, насколько безупречно точен арестантский язык. Потому что «беда» каждого третьего из нынешнего населения нашей хаты представляла собой чудовищный гибрид результата невезения человеческого и произвола отечественных правоохранителей.

Вот Витя-молдаванин. Приехал в Москву на заработки, на стройку устроился. Сначала всё нормально: трудился, деньги семье на Родину посылал. Потом с выплатами – заминка, а жрать надо, начал в универсаме подворовывать. По мелочи, чтобы ноги не протянуть. Раз сошло, два получилось, на третий раз охранники магазина бдительностью блеснули. С поличным скрутили, сразу предложили:

– Давай полтинник – замнём, отпустим... Нет – мусорам сдадим...

Полтинник в этом случае – пятьдесят тысяч рублей. Не было у Вити таких денег, и взять было неоткуда. Потому и оказался он в ближайшем от универсама РОВД¹¹, где ещё одно очень похожее предложение услышал:

– Плати сотку и вали на свою стройку... Нет – значит суд впереди, а потом – срок...

Таких денег тем более взять было неоткуда. Вот и дожидался Витя в нашей хате суда, а значит и неминуемой зоны, а слово «беда» лучшим синонимом его истории было.

Вот Саша Каспер. Тот с наркотой залетел. Насколько действительно виноват был, не сейчас судить, но объявился в его деле адвокат, пообещавший, что «всё решить можно». За деньги, понятно. Говорил, что и со следаками и судьёй «всё схвачено». На первый «взнос» родители всю наличность собрали. На второй машину и дачу продали. На третий долгов и кредитов набрали. Только адвокат со всеми этими деньгами перед самым судом пропал. Вроде заболел, на суде вместо него его коллега был. Суд восемь лет назначил. Телефон первого адвоката так и не отвечал. Первые два дня после суда Каспер не пил, не ел, не спал, только курил и в одну точку смотрел. Понятно, что и для его случая «беда» слово самое подходящее.

Повторюсь, но таких «беданосцев» в нашей камере добрая треть была...

Днём позднее, смотрун Косарь обратил внимание, что вырезанный из серебряной фольги, украсивший самодельный иконостас, орнамент вовсе не отклеился, а остался на своём, определённом участниками субботничка, месте. Объяснил это по-своему:

– У фольги основа другая... Потому и клейстер схватился...

И эта тема обитателям камеры интересной не показалась.

¹¹ Районный отдел внутренних дел. – Прим. ред.

Вскоре о субботничке вовсе забыли. Не уверен, что кто-то из обитателей нашей хаты вспоминал о нём позднее. Разве что я, уже на воле, спустя столько лет, вспомнил. Даже этот рассказ написал. На тот момент мне, пожалуй, лет уже больше, чем тогда деду Гордею было.

А вот связь между белым цветом и белым светом я, кажется, усвоил. Именно после субботничка. Со слов деда Гордея. Которого, то ли баптистом, то ли сумасшедшим считали. Жаль, не успел в своё время поинтересоваться, что за книгу без обложки он читал.

Злой привет от майора Кузи

Сначала было так.

Была у майора Кузьмина жизнь, которую на девяносто девять процентов составляла служба в зоне строгого режима. И это ему нравилось. И по-другому, наверное, он свою жизнь не представлял.

Со стороны могло даже показаться, будто не жизнь это, а сплошное творчество, какая-то форма самоутверждения личности.

Заступает в наряд дежурным по лагерю майор Кузьмин – ползёт из барака в барак невесёлое и даже угрожающее: «Кузя дежурит...»

Это значило, что в любое время дня и ночи, когда в сопровождении наряда, а когда и совсем один, мог он появиться в самом неожиданном месте, в самый неподходящий момент. Например, когда арестанты брагу разливают, или «трубу» заряжают¹². Соответственно, всякий раз в такой день из лагерного блаткомитета¹³ и от отрядных смотрюнов падала жёсткая установка: «Запреты на верхах не держать, с игрой осторожней и во всём прочем не обострять, не провоцировать...» Как пояснение, а может и для усиления сказанного добавлялось: «Кузя заступает...»

Неведомым образом просочилась с воли и давно жила в лагере «фишка», как майор Кузьмин сам себя дома тренирует: попросит жену мобильник в комнате спрятать и ... ищет с включённым секундомером! Вроде как нюх отрабатывает, чтобы потом телефоны и прочие запреты на шмонах легче находить было.

Ещё поговаривали, будто были у него во всех отрядах свои, трижды засухарённые осведомители, о которых даже кум был не в курсе, и которые работали на него, майора Кузьмина, исключительно. Только это вряд ли. Скорее всего, помогала ему особая мусорская, обострённая и отшлифованная в нём до совершенства, «чуйка». Сам видел, как зашёл однажды Кузя в нашу локалку¹⁴. Только и скользнул взглядом по арестантам, что в курилке сидели. Сразу выцепил одного. Поднял. Отвёл в сторону. Хлопнул по его карманам. Не ошибся. Улов – труба новая, только что затянута, плюс зарядка к ней. Опять же поговаривали на зоне, будто за любой такой улов мусор отличившийся премию получал. За премию не знаю. При вручении не участвовал. Зато знаю точно: тот арестант, кому труба и зарядка принадлежала, свою «десяточку» изолятора после рапорта Кузи получил.

Соответственно, понятно, какое отношение было у арестантов к майору Кузину.

Кажется, и его отношение к арестантам в уточнениях не нуждалось.

Но так, повторяю, только сначала было.

Потом всё изменилось. Резко изменилось.

Будто калейдоскоп с разноцветными стёклышками, из которых жизнь складывается, кто-то не просто крутанул резко, а, что есть силы, о булыжник шмякнул.

Родился у майора Кузьмина сын. Сын – всегда радость, а тут радость многократная. Потому как первый, быстро треснувший, брак у него был отмечен дочерью, что осталась при бывшей, куда-то уехавшей жене, и как будто пропала, а во втором, вроде и счастливом, детей долгое время не было. Короче, радость долгожданная и понятная. Аккурат, на следующий день предстояло Кузьмину дежурным по зоне заступать. Он и заступил.

¹² «Трубу» заряжать – подпитывать мобильный телефон от сети.

¹³ «Блаткомитет» – группа осужденных, которая негласно управляет зоной, создается, как правило, из подконтрольных администрации людей.

¹⁴ Локалка (тюремн.) – участок, на котором расположен отряд, отделённый от всей территории лагеря решеткой с запирающейся калиткой.

По неписанной, но строго соблюдаемой среди мусоров-офицеров традиции, «проставился» майор на своём дежурстве по причине обретения наследника. Пил полночи с коллегами по нелёгкой работе водку под стготовленные тещей пироги и домашнее сало, опять же той самой тещей засоленное. Потом... потом что-то невероятное случилось. Понесло майора Кузина из дежурки в зону. И не на «промку»¹⁵, где третья смена трудилась, и не в рядовой барак, а в барак номер два, где собраны были арестантские сливки, и в котором базировался лагерный блаткомитет. А дальше, вопреки всем инструкциям (мусорским), законам (арестантским) и даже здравому смыслу получилось так, что банкет свой майор Кузин продолжил в этом самом втором бараке. В отрядной чайхане (так в зоне называют отдельную комнату в бараке, отведённую под чаепитие и прочие куцые арестантские радости). В компании самых авторитетных в лагере зеков! Пил уже не вольную магазинную водку под тещины харчи, а ядрёный арестантский самогон под карамельки, в лагерном ларьке купленные.

Уже этот факт совсем нелогичным и очень чреватым для всех участников представлялся. Однако имел место такой факт, и это лишь началом происшествия было. В середине застолья разомлевший майор Кузин скинул с себя уфсиновский китель, освободил разгорячённую голову от форменной фуражки... Вот тут-то и началось самое интересное.

Пока один из арестантов разливал в очередной раз ядрёное пойло по прочифиренным кругалям¹⁶, другой, прихватив майорский китель и фуражку, юркнул с ними в соседнюю кевеэрку. Ну и закрутилось... Сначала арестанты примеряли мусорской прикид и фотографировались в самых раскованных позах на извлеченные из курков мобильники. Потом в фотосессии и сам, уже совсем отяжелевший, обладатель прикида участие принял. Охотно фотографировался с теми, кого обязан охранять, воспитывать и у которых эти самые мобильники отбирать должен, так как любые средства связи на зоне строго запрещены.

По причине великого веселья в тот момент и совсем нестандартные кадры родились. Это, когда рядом с арестантом, обряженным в китель и фуражку майора Кузьмина, сам майор в накинутом на могучие плечи лепеньке зековском и в лихо сбитой на затылок опять же зековской феске.

Какие тосты в ту ночь под сводами того барака произносились и вообще о чём тогда говорилось в ходе того, мягко сказать, стихийного веселья, не знаю.

Зато доподлинно знаю: ещё до того как рассвело, снимки с уникальной фотосессии появились в интернете.

К уже описанным сюжетам ещё один добавился: спящий расхристанный майор Кузьмин в интерьере кевеэрки¹⁷ на фоне характерной наглядной агитации в кокетливо заломленной арестантской феске с хорошо узнаваемом зековским кругалём-трёхсоткой в руке.

Немногим больше, чем через час, так толком и не проспавшийся, майор Кузьмин расположение второго отряда покинул. Уходил, чуть пошатываясь, в кителе, обсыпанном табачном пеплом, в фуражке с непоправимо помятой тульёй.

Шныри¹⁸, из тех, кто в административном корпусе убирают, видели Кузю днём в этом здании. Будто курсировал он между кабинетом замполита и кабинетом «хозяина»¹⁹ и вид имел

¹⁵ Промка (тюремн.) – здание или участок зоны (часть территории лагеря), на котором размещены производства, где используется труд заключенных.

¹⁶ Кругаль (кружка) – кружка.

¹⁷ КВР – комната воспитательной работы.

¹⁸ Шнырь, шестёрка (тюремн.) – заключенный, удостоенный права убирать камеру, барак и выполнять прочие обязанности по обеспечению быта заключенных, что намного легче обычных работ, которыми занимаются остальные заключённые. Такие поблажки нередко даются за лояльность администрации, стукачество.

¹⁹ Хозяин (тюремн.) – начальник зоны (То есть исправительной колонии (ИК) Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН). – *Прим. ред.*).

предельно понурый. Словно он накануне вместо зеков-грузчиков фуру мешками с дроблёным мелом в одиночку загрузил. Разве что белой пылью не был запорошен.

Некоторые из арестантов, говорили, что видели его в тот же день и позднее, около корпуса администрации, перед самой сдачей дежурства. Вроде, судя по кителю и фуражке, он был и вроде совсем не он. Потому как вместо статного, почти двухметрового плечистого мужчины видели они горбатого старика-коротышку.

А лица у этого старика не было вовсе. Голова, увенчанная той самой фуражкой со сломанной тульёй, была. Шея, начинавшаяся из ворота того самого, уже увековеченного интернетом, уфсиновского кителя, была. Лица – не было! Вместо него между воротом кителя и козырьком фуражки было ничего не понимающее и никого не видящее серое пятно. Усы, чёрные, всегда ранее заметные, в этом пятне совсем не просматривались. И глаз не находилось. Казалось, частью чего-то неодушевлённого было это пятно.

Как и полагалось, после любого лагерного ЧП, появилась на следующее утро в отряде комиссия. Кроме уже в лицо зекам знакомых мусоров из управы, были там и какие-то неизвестные люди. И в форме, и в штатском. Приглашали всех арестантов, участвовавших в недавнем ночном банкете в кабинет отрядника, что-то спрашивали, чего-то записывали. Только и спрашивали не настырно, и записывали не внимательно. Тех, кто говорить и писать отказывался, с миром отпускали. Странная какая-то комиссия! Следом даже и повального шмона не грянуло.

А майора Кузьмина никто больше не видел. Ни в лагере. Ни в городке, на окраине которого лагерь наш располагался. От этого городка отделены мы были тройным забором, но связь с ним и обмен информацией, благодаря многим арестантам из местных, были постоянными. По этому каналу и пришла новость, что Кузя из городка уехал. Следом снялась и вся семья, включая не только сына-грудничка, но и тёщу. Никаких подробностей о дальнейшей жизни бывшего майора Кузьмина так и не возникло. Будто и в лагере нашем он не служил, и в городе этом не проживал.

Конечно, последнее дежурство Кузи вспоминали. Доходили слухи, будто мусора́ эту историю как классический пример зековского коварства оценили. Правда, мстить за коллегу они не стали. Возможно, по особым на это причинам. Жил в лагере слух, что сами мусора Кузю уважением не жаловали, даже не любили откровенно за его излишнюю самостоятельность и служебное рвение. А ещё не могли ему простить, что главным мусорским приработком – затаскиванием в зону мобильников и алкоголя, Кузьмин брезговал, а потому никогда в этом замечен не был.

Случалось, что в бесконечных неспешных разговорах за цифиром и в курилке вспоминали майора Кузю и арестанты. Мнения звучали разные. Старики, воспитанные на правильных традициях, нехотя, но безапелляционно говорили, что арестантам с мусором пить негоже, а уж мусорской прикид на себя примерять совсем неправильно. Обоснования под эту точку зрения у них находились вполне убедительные.

Правда, очень скоро ушли старики со своей позицией в тень и безмолвие. Чаше и громче по поводу истории с Кузей стало высказываться злорадное одобрение: мол, мусорам так и надо, что в борьбе с мусорами все средства хороши, и не о какой порядочности здесь просто речи быть не может. Желающих возражать не находилось. Такая точка зрения в качестве окончательной вроде как и начала утверждаться.

Постепенно тема майора Кузи из арестантских разговоров и вовсе потерялась. Но только на время, чтобы потом вернуться в совсем неожиданном аспекте.

Выпало так, что горох, в завтрак предложенный, сырым оказался. Так бывает, если его с вечера не замочат на кухне.

В придачу к гороху несъедобному ещё и чай несладкий пришёлся. И такое выпадает, когда кто-то в арестантскую пайку сахара лапу накануне запустит.

И первый и второй минусы в арестантской жизни – явления заурадные, но, понятно, света в этой жизни не прибавляющие. Несложно догадаться, в какой атмосфере тот горох жевали, с каким настроением тем чаем запивали. На таком фоне за столом вдруг и прозвучало:

– А вот, когда Кузя заступал, не бывало такого ... Он сам проверял, чтобы горох заранее запаривали, сам рядом стоял, когда сахар по котлам засыпали...

Кто сказал?

Гриша Грек сказал. Тот самый, что второй срок досиживает, а оба срока у него по червонцу. Тот самый, что год назад за чифиром между делом обронил:

– Хорошо бы, если в стране у нас вор в законе начал править... Тогда бы всё по справедливости было...

И дед Василий, скупой на любой разговор, поддержал:

– Кузя мусор был правильный...

А у деда Василия двенадцать лет срока за участкового, из охотничьего ружья по пьяному делу подстреленного.

И Мага-чеченец голос подал. С акцентом неповторимым:

– Были бы все мусора такими, как этот Кузя, в натуре, сидеть было по-другому...

У Маги – статья «народная», за наркоту в больших объёмах, только весь лагерь знал, что те же мусора его в зону упрятали за прошлое, когда он в лесах с автоматом вместе с боевиками-«шайтанами» свою правду искал.

Мой же срок тогда только начинался. С учётом отсиженной скромной полторашки оставалось только внимательно слушать, по возможности понять, а, главное, запомнить, чтобы потом, устно ли, письменно, на воле людям передать. Чтобы тем легче разобраться было, кто такие современные российские арестанты, что у них на душе и в голове. Чтобы поняли, наконец, как мало у этих арестантов, арестантов настоящих, общего с теми арестантами, выдуманскими, которых им каждую неделю по ящику показывают, или про которых в книжках в ярких бумажных обложках пишут те, кто зоны не нюхал.

Казалась эта установка единственно правильной. Но так только казалось.

Через год уже, вроде бы как, напрочь забытая тема майора Кузи снова вернулась в нашу жизнь. Не вломилась, не ворвалась, а тихо, но неудержимо втёрлась, жёстко отодвинув всё прочее и остальное.

Сначала в лагере стало известно, что опять объявился Кузя в городке, из которого год назад так поспешно и нехорошо снялся. Прицепом к первой новости вторая: у бывшего майора теперь свой бизнес, и, кажется, вполне удачный. Из второй новости на автомате третья: специфика этого бизнеса такова, что непременно будет наша колония со своим меловым производством теперь важным партнёром для Кузи.

Комментировать эти новости никто не брался. Чего тут комментировать, ситуация житейская: попал человек в неприятность, а потом собрался с духом и неприятность преодолел, и свою жилу нашёл, которую теперь, вроде как успешно разрабатывает.

Повод для комментариев позже грянул. Через полгода. Когда стало известно, что фирма, Кузей возглавляемая, лихо кинула нашу промку на немалую сумму денег. Чем всё это обернулось для зоны и для мусоров, там служивших, можно догадываться. А для нас, арестантов, на этой промке работающих, кузино кидалово самый конкретный результат имело. Почти полгода потом мы работали за чистое «спасибо». Заработками здесь и раньше не баловали: закрывали в месяц по триста-четыреста рублей. После «привета» от бывшего майора в зарплатных ведомостях напротив каждой фамилии совсем смешные цифры стали проставляться: кому – сорок рублей, кому – шестьдесят, кому что-то среднее. И это в то время, когда пачка фильтровых в лагерном ларьке уже сорок с копейками стоила.

Чем всё это для арестантов обернулось, представить несложно. Кто прежде «Яву» курил, теперь «Приму» смолить начал. Соответственно, кто раньше себя «Примой» тешил, начал

бычки собирать, табак из них извлекать, на батарее его сушить и... в дело пускать, в самокрутки, какие в известном фильме дед Щукарь курил. Ну, а те, кто привычкам изменить не пожелал, в долги позалезали и всякие прочие бигуди на себя нахлобучили.

Какими словами после этого бывшего майора в арестантских беседах могли вспоминать, представить несложно. Только не вспоминали Кузю больше в лагере.

Разве что тот же дед Василий, некогда наградивший Кузю высоким титулом «правильный мусор», в случайно затеянном разговоре, где каким-то боком всплыл бывший майор, очень фигуристо матернулся и припечатал:

– Мусор – он и есть мусор... Мусор – этим всё и сказано...

Сплюнул и растёр подошвой арестантского башмака окурочек «козьей ножки». Той самой, что из табака, с бычков накануне набранного, была скручена.

Кстати, на воле такие самокрутки нынче поди никто уже и не курит...

Улетевший с белыми птицами

После вечерней проверки Сергей Прохоров понял, что умирает. Ничего не болело, не тошнило, и слабость не накатывала, но росла уверенность, что жизни в нём уже на доньшке. Показалось: внутри что-то треснуло, и незнакомый негромкий, но властный голос произнёс: «Всё!»

На этот момент шел ему сорок седьмой год, и третья его походка уже за половину перева-лила. Особый жизненный опыт, разумеется, определял и специфическое отношение арестанта Прохорова к смерти: не совсем наплевательское, но и вовсе без трагизма. И в СИЗО, и на пере-сылках, и в лагерях много кто на его глазах умирал. Ничего особенного: будто кого-то на этап определяли, или в новую зону отправляли. Правда, всё это тогда других касалось, теперь, то же самое *это* на него самого наваливалось. Жёстко и неотвратно. Не вернуться, не повре-менить!

На ужин Прохоров не пошёл, опрокинулся навзничь на шконарь свой, начал ждать. Как положено в такие моменты, о чём-то думал, что-то вспоминал. Предполагал, что важные и тор-жественные вещи на ум придут. Напрасно предполагал: всякая ерунда в голову лезла. Вроде того, что на лицевом счету у него неотоваренная в ларьке пятихатка зависла. Это на воле пять-сот рублей – пустяк, в зоне же – это деньги, вполне пригодные, чтобы на какое-то время решить вечно важную арестантскую проблему – курить.

Ещё набежало: у земляка в лагерном быткомбинате не успел он забрать феску, на заказ пошитую. Знатная феска. Не хозяйская убогая, изначально формы не имеющая, а франтова-тая, высокая, с козырьком жёстким и вперёд далеко выдающимся. Блок фильтровых за такую феску арестант Прохоров отвалил. За работу расплатился, а красоту такую и не одел ни разу. По этому поводу удивился: «В такой момент про какую-то шапку вспомнил... Разве она *там* понадобится...»

Выходило, одни пустяки в голове роились.

Только краешком в сознании серьёзное шевельнулось. Подумал: к лучшему, что на тепе-решний момент он – человек на сто процентов одинокий: жёны в житейских волнах где-то затерялись, и, похоже, уже никогда не выплывут, дети – выросли и своими дорогами в свои стороны идут, на отца с его тремя походками вовсе не оглядываясь.

Хорошо – никому ни хлопот, ни огорчений!

Вспомнилось: в такой момент перед человеком вся его жизнь проносится, будто быстрое кино ему про него самого показывают.

Ничего похожего не происходило.

«Не будет кина...» – сам над собой про себя пошутил. От неуклюжей этой шутки тоски только прибавилось.

На какое-то время показалось даже, что умирать скучно, потому, что вокруг ничего не происходит, ничего ни в какую сторону не двигается. Но это совсем ненадолго. Потом...

Потом ужас подвалил. Как будто в колодец без дна вниз головой падать предстояло. Это уже после отбоя, ближе к полуночи было, вторая смена после ужина в барак вернулась. Тогда, ровно напротив, между гнутыми прутьями шконаря и батареей отопления что-то слоистое и косматое замельтешило, ещё более чёрное, чем прописанная там ночная темень. Уверен был, что в этом клубке и безгубая пасть угадывалась, и продавленный нос виднелся, и глазницы, чем-то, чуть менее чёрным, начинённые, мелькнули. Даже шуршание и сопение мерещилось.

– Ишь, сука! Вот, она! За мной нарисовалась..., – вроде и вслух сказал Прохоров, но сам себя не услышал, к тому же, явственно ощутил, что губы его сжатыми остались.

Тогда, несмотря на робу не снятую, несмотря на матрас толстенный, из трёх обычных шнырями собранный, собственным позвоночником почувствовал он все железяки панцирной

сетки своего шконаря. Показалось, что железяки эти, не только острые и царапучие с краёв, но ещё и очень холодные, будто в сугробе выдержанные.

Захотелось перекреститься, но сил хватило только рукой по груди повозить. По тому месту, где под майкой и лепнем крестик алюминиевый на синем, с промки украденном, шнурке висел.

К тому времени в проходняке у Прохорова арестантская делегация собралась, шконарь напротив заняла. Прощаться пришли, хотя никого Сергей не звал, и ни с кем недобрыми своими предчувствиями не делился. И семейник его, хохол Коноваленко, был, и напарник по промке, Лёха Мультик появился, и ещё кто-то. Сам смотрун за бараком – Коля Доктор пришёл. К смерти все они так же, как и Серёга Прохоров относились по-арестантски сдержанно (это, как на новый этап, в другую зону и т. д.), но здесь, то ли от близости происходящего, то ли из-за уважения к умиравшему, разволновались.

– Может, всё-таки на крест его, там какой укол сделают, или на больничку определяют... – подал голос Димка Ганс, наивный первоход, что шконарь над Прохором занимал.

Сказал, поглядывая с надеждой на отрядного смотруна, да и вмиг осёкся, потому как тот и договорить ему не дал, осадил:

– Много кому твой крест помог... Там те же всё равно – мусо-ра! Разве что в белых халатах... Забыл, как Деда мурыжили...

Историю с Дедом, прежним смотруном отрядным, никто не забыл. Сначала после флюшки очередной у него затемнение обнаружили, потом рак признали. Тасовали бедолагу: то в санчасть лагерную («крест» по-арестантски), то в больничку, которая главной по управе считалась, то в другую больничку, кустовую, что за триста километров от зоны находилась. По всем признакам полагалось Деда активировать и отпустить домой, лечиться в нормальных условиях, или, по крайней мере, чтобы перед смертью в домашнем покое подольше побыть. Закон такое позволял. Только для кого эти законы писаны? То в очередь на пункцию не ставили, то результаты анализов терялись, то диагноз уточняли. Наконец, когда все бумаги собрались, пришлось бедолаге окончательное решение на активировку от больших начальников тюремного ведомства ждать. Он и дождался... Когда уже едва ноги передвигал. Уехал домой, через неделю умер. Никто не сомневался: были бы честней и расторопней врачи на самой первой ступени тюремно-лагерной медицины, всё подругому сложилось бы, пожил бы ещё Дед.

Упоминание про смотруна бывшего, всего с полгода как умершего, тоски прибавило. Казалось, что Сергей Прохоров теперь эту тоску на вкус чувствует. И вкус этот едким и горьким был. Как у чифира, из вчерашних вторяков сочинённого. Больше того, концентрация едкой горечи нарастала. Оттого и гримаса отвратная по его лицу пробежала, несмотря на полумрак, не замеченной для тех, кто у шконаря его собрался, не осталась. Потому и Мультик, погнало своё полудетское из-за невероятно оттопыренных ушей получивший, предложил:

– Может, того... Чайка сварганить... Ко мне кабан зашёл... Чай классный, вольный, не то что в ларьке плесневый... Чифир – бомба!

Промахнулся Мультик с предложением, горечи внутри у Прохора и так через край было. При слове «чифир» его передёрнуло. Со стороны показалось, что он головой отрицательно мотнул.

– Слышь, Прохор... А курнуть хочешь? Васька Цыган разжился...

Это сам Доктор сказал. С такой убедительной интонацией, что и отказываться неудобно. Только не тот случай.

Теперь арестант Прохоров вкус анаши явственно почувствовал. Раньше он его приятно будоражил, теперь от этого ощущения начало мутить. Потому и ещё раз мотнул он головой:

– Не-е-е...

Совсем неожиданно, даже для себя самого, уточнил очень тихо:

– Через Досю затягивал?

Дося – один из лагерных мусоров-контролёров. Белобрысый, и с лица розовый. Совсем как поросёнок, что стиральный порошок в телевизоре рекламирует. Как и многие сослуживцы, дополнял Дося свои скудные мусорские заработки тем, что помогал арестантам в зону запреты доставлять. Не за «спасибо», разумеется. Под запретами понимались телефоны мобильные, алкоголь, а порою и наркота простенькая типа анаши местной или гашиша мутного происхождения.

Не принято на зоне при скоплении больше двух арестантов говорить на подобные темы, потому как стукачи лагерные круглые сутки начеку: уши греют, своё стукаческое предназначение отрабатывают. Полагалось бы смотруну отрядному жёстко одёрнуть задающего такие вопросы. В этом случае, с учётом серьёзности момента и, опять же, из-за уважения к главной фигуре события, исключение было сделано. Подтвердил Доктор в полный голос:

– Через Дося!

Только к ответу этому у Прохора уже никакого интереса не было. Он на него и не отреагировал, будто и не слышал, будто сам и не спрашивал. Лежал, в одну точку уставившись. В ту сторону, где по-прежнему тормозился слоистый и косматый ужас, из языков тьмы сотканный. Вполне могло показаться, что и нос арестанта Прохорова острее стал, и скулы жестче обозначились. Совсем на старика был в этот момент похож он, и совсем одинаково думали рядом сидевшие. Не сомневались: земной срок для их товарища уже на минуты пошёл.

Скорее по инерции, чем по разумению, тот же Мультик опять голос подал. С предложением, для обстановки, казалось бы, трижды неожиданным:

– Может, коньяка глотнёшь?

Смысл слова «коньяк» до лежавшего не сразу дошёл. Будто, что-то на другом, когда-то изученном, но потом, напрочь выбитом из памяти, языке, прозвучало. Только кадык, к тому времени так же, как нос и скулы, жестче обозначившийся, дёрнулся, словно глотнул чего-то Прохор.

Не было проблемы на зоне выпить. Гуляли по лагерю и спирт, и водка, которые с воли мусора доставляли. По кусачим ценам, изрядно разбодяженными, но они... были, доступны были. Ещё проще было самогон или брагу раздобыть. Эти напитки уже сами арестанты в строгой конспирации изготавливали, за что рисковали в изолятор загреметь. Водился и коньяк, но он великой редкостью был, потому как не для неволи по всем параметрам этот напиток. Потому и смотрун Доктор не удержался от вопроса:

– Откуда?

– Через школу затягивал... С компьютерщиком добазарился... Думал до днюхи своей заныкать, на курке продержаться... Но тут такое дело...

– Всё равно курсануть надо было...

Посчитал нужным смотрун напомнить Мультику незыблемые правила лагерной жизни. Но без злобы напомнил, больше для порядка, самой интонацией подчёркивая, что неожиданное это предложение вполне своевременно и вовсе не осуждается.

– Давай!

Это уже сам Прохор распорядился. Голос его так же тихо прозвучал. Кажется, никто и не видел, что он рот открывал, кажется, многие уже и вовсе не ожидали его услышать.

И сам Сергей Прохоров не ожидал сейчас от себя этого. Не ожидал, но повторил:

– Давай...

Кивнул утвердительно отрядный смотрун, но Мультик и без кивка метнулся из проходняка в сторону то ли сушилки, то ли каптёрки, где у него, надо полагать, и находился курок. Вернулся быстро, ещё на ходу из рукава вытащил пластиковую бутылочку-трёхсотку, извечную алкогольную лагерную тару, скрутил особо заметную в полумраке барака белую пробку.

– Вот!

Коньяк налили в чифирную алюминиевую кружку с погнутой ручкой. Показалось Прохору, что вкус этого коньяка ощутил он ещё даже до того, как напиток забулькал, перекочёвывая из одной ёмкости в другую. Благодаря аромату, который не просто сумел через все запахи барака пробиться, но и воцарился над ними. Пересилил коньячный дух и горькую вонь окурков, в плевках затушенных, и кислоту сохнувшей на батареях отопления арестантской одежды, и очень специальный запах, что всегда висит в помещении, где в тесноте круглосуточно обитают очень много мужских тел. По крайней мере, на пространстве проходняка, где сейчас лежал Сергей Прохоров, баракom уже не пахло. Коньяком пахло! Другой жизнью пахло! Почти волей пахло!

Неловко было лёжа пить, но он до дна выпил. Естественно, расплескал немного, потому и зажгло с двух сторон: изнутри в горле, и снаружи на подбородке и на шее, куда коньяк пролитый попал. Не закашлялся, но выдохнул неровно, болезненно. Потом жар и до желудка добрался, а оттуда в рукиноги теплыми толчками пошёл.

Спроси сейчас кто, зачем выпил, вряд ли у него нашлось, что ответить. Скорей всего, просто пожал бы плечами или выругался односложно, но не зло. Зато любой из присутствовавших охотно, ни сколько не сомневаясь, был готов пояснить: так надо, чтобы легче *уходить* было, чтобы... словом, напоследок.

Не угадали!

Ещё до того, как глотнул смолистой ароматной жидкости, даже до того, как тот аромат в него ворвался, подумалось ему о нескольких очень простых, по-лагерному говоря, насущных, вещах. И не то, чтобы они самыми главными на этот момент в его голове были, но звучали первыми, всё прочее отодвигая.

– Почему здесь? Почему сейчас? Почему именно здесь? Почему именно сейчас? Это просто не нормально... В неполный полтинник в лагерном бараке кони двинуть... С какой стати? Не согласен! Не хочу!

Как будто пружина, круто скрученная, обнаружилась в нём и чуть дрогнула, напомнив о недюжинной в себе скрытой силе.

Теперь Сергей Прохоров уже не лежал, а полусидел, приспособив под спину вместе с подушкой сложенную телягу. Не отказался от предложенного зубчика шоколада, потом затянулся уже кем-то раскуренной сигаретой. Никакого разговора затевать не собирался, но по сторонам водил заблестевшими глазами уже совсем по-другому. Первым делом внимательно посмотрел прямо перед собой в сторону батареи за шконарными гнутыми прутьями. Туда, где совсем недавно видел жуткое и, казалось, неотвратимое. На этот раз ничего, кроме сохнувшей на батарее, им же недавно постиранной майки, не увидел. Хотел что-то сказать по этому поводу, даже воздуха вдохнул и губами, коньячный вкус ещё хранившими, пошевелил, но передумал. Зато жест позволил. Простой и очень понятный: покрутил сложенными в кукиш пальцами в сторону той самой батареи за шконарными прутьями. Потом ещё раз сигаретой затянулся не сильно, но с удовольствием. Как-то по новому, очень ясно посмотрел на всех, кто на этот момент в его проходняке собрался, попросил:

– Ну вы, ладно, это, идите... Нормально всё... Отпустило... Мультику респект... С коньяка полегчало...

Про коньяк он соврал вчистую. Не в коньяке было дело, а в чём, он и сам пока не знал. Уже не сомневался, что страшное, совсем недавно смотревшее на него в упор и готовое забрать с собой, отвалило ни с чем, далеко и надолго. Уверен был – откатилось побеждённым и посрамлённым. Это и казалось самым ценным и важным на этот момент, но пружина, внутри его обнаружившаяся, не шевельнулась: то ли выжидала, то ли умножала непредсказуемую великую энергию.

Теперь не было сомнения, что сможет он подняться, что не будет при этом его шатать. Только вставать не собирался, куда важнее было вот так, лёжа, оставаться и со своими мыс-

лями разобраться. А мысли на тот момент были очень разными, среди них и совсем неожиданные обнаруживались. И никакого порядка или очерёдности там не было. Мысли эти на живых смысленных, очень подвижных существ походили, которые в этот момент между собой шустрю чехарду затеяли. Самой простой среди этих мыслей был уже звучавший внутри вопрос, к самому себе обращённый: «А с какой стати я помирать сейчас должен?»

Не в оправдание, а в усиление правильности и справедливости последнего вопроса уже знакомые уточнения крутились: «Почему именно я? Почему именно здесь? Почему именно сейчас?»

Некому было на эти вопросы отвечать, даже выслушать их некому было, но вертелись они в голове без уговона.

Верно, не живут долго в российских зонах, верно, не бывает здесь стариков вовсе, но стариковских параметров Сергей Прохоров ещё не достиг. Зачем статистику ломать, зачем вперёд всех лезть? А ещё злое упрямство, вовсе не с возрастом связанное, выюном в этих мыслях крутилась. Это, когда он некоторых из своих нынешних сокамерников на автомате вспоминал. Вот Митя Палач, что в соседнем проходняке обитал. Ему такое погоняло приклеили не потому, что отчество из «Павлович» в «Палач» переиначили, а в соответствии с подробностями его делюги. По пьянке своего собутыльника он зарезал, и не просто зарезал, а, согласно бумагам, с которыми на зону прибыл, аж «двадцать ножевых ранений, половина из которых несовместимы с жизнью» нанёс.

Никогда не укладывалось у Сергея в голове: даже если и заспорил Палач со своим собутыльником, и позволил тот непоправимое оскорбление, зачем из человека решето было делать?

Больше того, свежезарезанного своего сотрапезника выволок Митя из комнаты, положил в ванну, накрыл одеялом и четверо суток рядом сидел. Выпивал и даже закусывал. Вроде как поминал того, кого сам и порешил. За водкой и едой за это время дважды в магазин отходил.

Между прочим, всё это стряслось в июле, когда жара за тридцать стояла. Чем Митя дышал, особенно перед тем, как за ним мусора пришли, представить не сложно. Ещё одно «между прочим»: перед судом его по всем экспертизам прогнали, доктора-специалисты признали: нормальный! Такой «нормальный» в зону по своей делюге всего девять лет привёз. Вот он сейчас в соседнем проходняке шконарём скрипит, бумагами шуршит. Наверное, с семейником сало трескает. Пожрать он – большой любитель. И зона ему аппетит не испортила. Потому уже за первый лагерный год брюхо наел, румянец на всю физиономию заимел. Разве справедливо, что Митя Палач – останется, а он, Серёга Прохоров – туда ...в чёрный пластиковый мешок?

Кстати, по масти своей арестантской, был Сергей Прохоров крадуном чистой воды, даже на грабёж никогда не разменивался, а уж чтобы в живого человека тупо ножом ткать, такого даже представить не получалось. По поводу собственного жизненного выбора были у него свои объяснения. Ни с кем Прохор такими мыслями не делился, но для себя давно уяснил: и путь воровской, и все закавыки жизненные – судьба. Воры в любом обществе, в любом государстве всегда существовали, и будут существовать. Для социального равновесия. Для баланса белого и чёрного. Для иллюстрации Добра и Зла. И, если так сложилась, что тебе все эти истины пришлось своей биографией доказывать – это опять та же самая судьба. Другое дело, что и при такой судьбе важно облик человеческий сохранять, говоря языком арестантским, надо порядочным быть.

Ещё через проходняк в том же бараке обитал Миша Узбек. Возможно, никаким узбеком он и не был, но когда-то в Ташкенте жил, что-то по-узбекски мог говорить. Впрочем, неважно это. В зону Узбек, как и Митя Палач, по «сто пятой» душегубной заехал. Жену убил. С которой до этого, худо-бедно, лет двадцать пять прожил. Объяснял: довела, заездила, даже колдовством порчу наводила. Возможно, всё и так, только зачем человека, пусть такого вредного и пакостного, жизни лишать? Не понимал этого Сергей Прохоров.

А ещё известно было, что Узбек жену свою уже мёртвую на куски распластал и в разных местах в огороде закопал. Вот это уже никак в голове честного крадуна не укладывалось. К тому же, опять, не секрет, ещё до суда полгода таскали Мишу Узбека по разным психэкспертизам, и специалисты маститые кивали: здоров, нормален, вменяем. Конечно, хуже было бы, если признали ненормальным, подлечили и... на волю выпустили, но...

Никак не лезло в сознание тёртого арестанта Прохорова: как же так – он умрёт, а Миша Узбек останется. И не просто останется, а будет пользоваться всеми, пусть сильно урезанными в зоне, радостями жизни. Ясно, что эти радости – куцые и, в соответствии с обстановкой очень специфические. Но солнце, что на лагерном языке балдой называется, ему светить будет и закурить-заварить в наличии, а для мёртвого Прохорова – ничего не будет, всё чёрной занавеской занавесится. Опять несправедливо! Впрочем, «несправедливость» слово здесь неуместное. Мягкое и бесформенное. Интеллигентное, короче. Куда правильней из того же лагерного словаря взятое жёсткое и конкретное слово «беспредел».

– Чуешь, Прохор... Дело твоё, конечно, но ты завтра того... В храм сходить трэба... Или в пятницу, когда батюшка приедет...

Как из другого далёкого и чужого мира, свистящий шёпот соседа с соседнего шконаря хохла Коноваленко раздался.

– Схожу, схожу...

Слишком быстро согласился. Даже смысла предложенного уяснить не успел. Потому что о своём продолжал думать. Хотел понять, куда делось то страшное, что казалось неминуемым и неотвратимым. Ясно, что коньяк толчок дал, но не это – главное. Не в коньяке дело, иначе продавали бы его не в магазинах, а в аптеках за другие деньги, исключительно по рецептам с гербовой печатью. А в чём тогда дело? Может, правда, кто-то сверху щедро распорядился, скомандовал: «Арестанту Прохорову Туда – ещё рано! Арестанту Прохорову – ещё жить!»

Опять же, за какие заслуги? Почему раньше эти заслуги никаким образом не были отмечены?

И опять пружина, недавно внутри обнаруженная, невнятным, но могучим шевелением о своей силе напомнила.

Тем временем, в чехарде мыслей, в голове крутящихся, ещё одна, вроде и неновая, но другим цветом раскрашенная, выпятилась. По-хорошему злая и очень упрямая. Вспомнил он, как чуть ли не все три года, в этой зоне отсиженные, осаждал его лагерный кум Королёв, некогда награждённый одним изобретательным арестантом диковинной кличкой Полумесяцем Бровь. Предлагал сотрудничество. Точнее, склонял к конкретному стукачеству за очень зыбкую перспективу содействия в получении УДО²⁰.

Поначалу Прохор «валенком прикидывался», пытался предстать увальнем, лагерной действительностью затюканным. Не проканало! Бульдожьей хваткой вцепился в Прохора кум Королёв. Похоже, с этой хваткой и перестарался, потому как вспылит арестант: в устном виде послал Полумесяцем Бровь на три откровенные буквы, а в письменном виде пообещал вскрыться (в переводе с лагерного вскрыть себе вены), если не оставит его кум в покое. Последнее событие для любой зоны – ЧП, мусорское руководство не красящее, следом жди проверок, разборок и неперменных наказаний: за это и звёзды теряют, и с работы вылетают, бывает, и под суд идут.

В оконцовке, ни с чем остался главный опер зоны, но пакостить Прохору продолжал: то карцером без вины «награждал», то с отряда на отряд перебрасывал, то с промки пытался его списать, то блатных натравить, то ещё какую чисто лагерную каверзу подстроить. Показательно, что лично ни одну из перечисленных позиций Полумесяцем Бровь «закрывать» не мог. Не было у него на это прямых полномочий. Старался всё исподтишка, за счёт интриг шантажа

²⁰ УДО (сокр.) – условно-досрочное освобождение.

да провокаций. И чтобы этот человек остался жить, да ещё и на воле? Тогда как он, порядочный арестант Прохоров, вот так, запросто в ящик, точнее, согласно лагерным правилам, в чёрный пластиковый пакет? Опять несправедливость, конкретному понятию «беспредел» полностью соответствующая!

К тому же, вся зона знала, что ни одного Прохора кум Королёв изводил и преследовал. И другое зона знала: далеко не всем, как Прохору, упорствовать и геройствовать удавалось. Некоторых обламывал Полумесяцем Бровь, добивался согласия на сотрудничество, а такое дело в лагере, как шило в мешке, – спрятать трудно, обязательно прорвёт, непременно наружу пропрёт. Понятно, что среди порядочных такому зеку места уже не найдётся. И здесь движение только в одну сторону – вниз, на дно, к ссученным. Обратно никто и никогда не возвращался. Сердобольный скажет: судьбы ломаются; строгий и жёсткий отметит: естественный отбор.

Над всем этим Сергей Прохоров нынче не задумывался. Не потому, что в зоне думать разучился, просто всё ясно было. И самым главным в этой ясности было то, что ему, арестанту Прохорову, не позволительно покидать белый свет раньше, чем сделает это кум Королёв. Не позволительно! Без вариантов!

Впрочем... Разве лагерный кум – тот человек, по которому жизнь и, тем более, смерть свою выверять надо? Разве можно аршином избирать того, кто для большинства обитающих на пространстве неволи – символом коварства и всех прочих человеческих гадостей является? И, вообще, для арестанта мусор, тем более, главный опер зоны, это – фигура из иного мира, где не просто непохожая система ценностей, а где обитатели совсем из другого теста слеплены, другим воздухом дышат и другим зрением на всё вокруг смотрят.

Через мгновение напрочь забыл Прохоров про кума Королёва, будто и никогда не пересекались их пути. На другой теме его сознание сконцентрировалось: вспомнилось, как два последние года невольной своей жизни Сергей Прохоров очень внимательно присматривался к организации работы на лагерной промке. С прищуром присматривался к тому, что, кажется, уже ясным и понятным было. Все знали: зона – предприятие самоокупаемое, за электричество, воду, канализацию, даже арестантскую униформу убогую, не говоря уже о продуктах зеками потребляемых, лагерь платит. Известно было, что деньги эти зеки на промке зарабатывали. Выходило, что невольники сами свою неволю во всех измерениях оплачивали. Ладно бы, если только так... Известно было: круто ворует лагерная мусорская верхушка. Изощрённо, расчётливо и очень масштабно. Отсюда и особняки трёхэтажные, и иномарки дорогущие, и ещё много чего, что с куцыми фсиновскими окладами даже сопоставлять бессмысленно. Кстати, особняки, упомянутые, в основном, на холме концентрировались. И это в то время, когда зона у его подножия располагалась. Вот и выходило, что зеки на мусорские хоромы прямо из окон цехов промки любовались. По сути, на украденные результаты своих трудов любовались.

Конечно, во все инстанции жалобы шли. И про манипуляции с сырьём, на промку лагерную от смежников поступавшим, и про откровенно левые заказы, что регулярно друганы «хозяйина» с воли подбрасывали, и про откровенный беспредел, по которому наряды на работавших арестантов закрывали. Нулевым КПД всех этих жалоб был, потому что была у руководства лагеря возможность или перехватывать такие сигналы, или откупаться, щедро одаривая взятками любых проверяющих. Выходило: особняки мусорские, что были видны из окон цехов промки, не просто частью пейзажа являлись. Они наглядной иллюстрацией, символом Закона и Справедливости были. В том варианте, в котором эти понятия для арестантов предназначались. Короче, эти особняки символизировали беспредел, царивший в лагере.

Обо всём этом сейчас Сергей Прохоров вспомнил. Кажется, совсем, не к месту, вовсе не вовремя. Хотя, разве кто выделяет российским зекам специальное место и время для размышления на великие темы Добра и Справедливости?

Было время, казалось ему единственно правильным и даже мудрым собрать всю информацию о том, что творилось на лагерной промке, оформить в виде грамотной телеги и отпра-

вить в Москву в какое-нибудь важное ведомство, способное по этому вопросу и порядок навести и виноватых наказать. Только недолго это время длилось. Очень скоро всё, что правильным и мудрым казалось, сущим пустяком представлялось. Потому что ясно было: не существует в стране инстанции, готовой и способной решать проблемы российских арестантов. Не наивным, а нелепым представлялось даже надеяться на обратное. Это как с лагерного плаца веземным цивилизациям сигналы зажигалкой подавать, и верить, что через день на тот плац НЛО плюхнется.

Засыпал Сергей Прохоров уже совсем здоровым и очень спокойным человеком, даже не вспомнив, что ощущал он всего два часа назад. Большое беспокойство испытал он на следующий день. Совсем необычного свойства было это чувство. Казалось, изменилось что-то внутри и настолько серьёзно, что за этой внутренней переменой, того гляди, должен круто измениться весь остаток его биографии. Хотя, откуда взяться этим переменам? Никаких бумаг на пересмотр своей делюги он не отправлял. Никакая амнистия коснуться его не могла. В никакую правовую реформу в России он не верил. Потому и бок о бок с проявившимся внутри беспокойством вьюном вертелось почти бабье любопытство: что сейчас наступит, чем предчувствия обернутся, как всё закончится?

Опять почувствовал великой силы пружину внутри, неизвестно откуда взявшуюся и неведомо для чего предназначенную. И ещё показалось, что связана эта пружина с часовым, уже затикавшим механизмом.

Однако на разводе никаких новостей никто не озвучил, ровно без событий прошёл завтрак, да и потом, в бараке, ничего не случилось, ничего не произошло.

И случилось, и произошло всё часом позднее, когда вышел он в локалку покурить. Прежде чем сигареты по карманам шарить, подошёл к турнику, соблюдая давнюю привычку, хотел несколько раз подтянуться. Уже подпрыгнул, уже повис, ухватив перекладину неширокими, но крепкими узловатыми кистями, и... похолодел, понимая, что своего веса он не чувствует. Всё чувствовал, что положено было ему чувствовать в этот момент: и скользкую холодность перекладины (это на ощупь), и кисло-горькую близость лагерной пекарни (это по запаху). Кажется, во рту даже вкусовой отголосок съеденной за завтраком пшенной каши присутствовал, и вкус ещё не выкуренной сигареты уже улавливался. Только все эти ощущения слишком обычными, слишком постоянными, если не сказать вечными, были. И ни в какое сравнение с новым чувством они не годились: он понимал, что у него нет веса.

Сейчас уверен был: та пружина, что накануне внутри обозначилась, до предела сжалась и завибрировала.

– Стоп! Суету – отставить! Горячку не пороть! – сам себе он скомандовал, хотя в армии не служил и ко всему, что хоть краем к строгой дисциплине или чему-нибудь военному касалось, относился почти с ненавистью.

Оглянувшись и поняв, что никто из бывших в локалке арестантов не смотрит в его сторону, Прохоров зашёл за угол барака. Сейчас ему было плевать, что обычно здесь курили обиженные, что появиться здесь порядочному зеку – значит зашквариться, что в переводе с тюремно-лагерного означало потерять ту самую порядочность. Куда важнее было поспешить убедиться в том, что, действительно, с ним произошло.

Он был почти уверен, что и недавно обретенное ощущение отсутствия собственного веса и, соответственно, открывшаяся перспектива собственного полёта – ошибка, наваждение, глюк, которому всегда найдется место в истрёпанном неволей сознании арестанта. Уже успел подумать, что и хорошо это, что и слава Богу, что пригрезилось, примерещилось, ибо, кажется, невозможно, правильно распорядиться таким даром в приплюснутых со всех сторон условиях российской зоны. Кроме проблем, кроме усложнений, и без того непростой обстановки на ограниченном пространстве. Подумать-то успел, только всё равно в сокровенных закоулках созна-

ния ярко сверкнуло дивным светом надежды предположение: может быть, всё-таки правда, может быть, всё-таки полечу?

Только для зоны, для арестанта слово «полечу» в чистом виде не может существовать. В этой обстановке глагол «полететь» – только одно значит – «улететь». Улететь, улететь... Короче, долой, прочь... Прочь из неволи! Туда, где и в помине нет ни шмонов, ни проверок, где глаз не наткнется ни на локалку, ни на запретку, ни на вышку с охраной.

То ли щёлкнула, то ли хлопнула, а, может быть, и совершенно бесшумно, но с невероятной мощью крутанулась та, ставшая частью его самого, пружина.

Хорошо, что сейчас рядом никого не было. Хотя, если бы кто здесь и оказался, вряд ли смог смутить, тем более помешать Сергею Прохорову. Несколько раз, качнувшись с пятки на носок, он замер, вытянувшись в струнку, словно прислушиваясь к себе самому. Потом, немного присев, слегка оттолкнулся двумя ногами. Получилось: завис над усеянной втоптан-ными окурками, пахнувшей мочой землёй. Завис, не ощущая своего веса, не чувствуя своего тела. И ...всё равно не верил, что всё это происходит с ним наяву. Проглотил внезапно обо-значившийся в горле очень неудобный комок, чуть дёрнулся, как человек дергается, спеша освободиться от снимаемой одежды и увидел, что расстояние между подошвами его башмаков и землёй заметно увеличилось. Втоптанные в неё окурки были теперь едва заметны и раздра-жавший ранее резкий неприятный запах уже не чувствовался.

Его мысли, до этого крутившиеся в несусветной чехарде, успокоились. Впрочем, никаких мыслей уже не было вовсе. Полагавшееся им место занимало что-то совсем незнакомое очень сильное, никому и ничему не подчиняющееся. Идея – не идея. Желание – не желание. Скорее установка, команда. Непререкаемая, не допускающая даже намёка на неисполнение.

Лететь! Вперёд! Точнее, вверх! Вверх! Вверх!

Теперь он выругался, но с такой торжествующей и радостной интонацией, что использо-ванные чёрные слова прозвучали совсем естественно и почти невинно.

Он ещё раз рванулся, двинулся то ли вверх, то ли вперёд, нисколько не удивился, когда увидел под коцами шиферные волны крыши барака. На автомате вспомнил, что арестантам в зоне строго запрещалось подниматься на крыши лагерных построек, подумал: «Хрен ли мне теперь такой запрет...» Подумал с дерзкой гордостью и тут же одёрнул себя, честнее, струсил: «Вдруг не со мной всё это, или мерещится, сколько раз приходилось слышать, как рассказы-вали матёрые наркоши, что, переборщив с зельем, отправлялись в диковинные странствия во времени и пространстве...» Последние мысли безжалостно стёр из сознания: «При чём здесь наркоши... Известно, они всегда не в себе... Потому и нет доверия им ни в чём... Впрочем, наркоши – одно, я – другое...»

Сейчас внизу, кроме наклонённой унылой шиферной серости, была видна и отрядная локалка – асфальтовый заплёванный пяточок перед бараком, отделённый от прочей лагер-ной территории высокими решётками с колючей путанкой наверху. Как всегда, арестантов в локалке хватало: курили, в нарды играли, просто с разговорами толклись, но никто вверх не смотрел. Последнему взлетевший не удивлялся, помнил, что и сам совсем нечасто в лагере голову вверх задирает. Понимал, там – небо, значит, свобода, смотреть туда – тосковать, рас-страиваться, самому себе лишний раз кровь сворачивать. Зачем пялиться на недоступную сво-боду, когда двумя ногами, да что там двумя ногами... по уши, торчишь в Неволе. Гадкой, густой и липкой. Из которой не вылезти, не выскочить. Разве что... вылететь. Неужели... Неужели, это теперь и случилось? И ничего это не снится. Точно, не снится, потому как только что крепко ущипнул он себя за кисть левой руки. Вот оно, красное пятно выше запястья: и зудит, и побаливает. Впрочем, что там пятно! Тоже мне примета полёта! Куда важнее, что сейчас ощущаются потоки воздуха, упругость воздуха, движение этого воздуха. Чувства, зна-комые лишь избранным: парашютистам да дельтопланеристам. Всё это ощущается всем телом, а веса тела, будто, и нет вовсе. А ещё, всё то, что раньше на одном уровне с тобой было, теперь

под тобой: вот под коцами твоими медленно проплывает и так же небыстро в размерах уменьшается.

Как-то само собой очень быстро научился Сергей Прохоров управлять своим телом в отсутствии всякой опоры. Да так ладно, будто все свои прожитые почти полсотни лет не столько топтал землю, асфальт, бетон, камни и песок, сколько летал над всем этим.

Сейчас он взял чуть левее от своего барака и оказался рядом с корпусом лагерной администрации. Немного опустился, завис на уровне окон комнаты дежурного. Сегодня на вахту Мирон заступил. Один из замов «хозяина». Целый подполковник. Роста двухметрового. До того, как в тюремную систему пришёл, говорят, в ОМОНЕ служил. Опять же, говорят, будто лично с одного удара квартирную дверь в ходе всяких омовских акций-операций мог вышибить. Злые на язык арестанты уточняли-подкалывали: с одного удара... головы. Всякий, кто Мирона близко видел, и на его лицо внимание обращал, в этом нисколько не сомневался. Вот сейчас он на своём рабочем месте и повязка «Дежурный» на руке. Сидит, голову опустил. Неужели читает? Вряд ли. Кто свою жизнь с тюремным ведомством связал, чтение редко жалует. Скорее, задремал. Утомился от хлопот служебных или сморился от стакана, опять же по службе поднесённого.

«А вот взять, да подобраться поближе и постучать аккуратно костяшками пальцев в окно или максимально приблизиться к стеклу, скорчить рожу пострашней, и прилипнуть лицом вплотную к этому стеклу?» – пришли в арестантскую стриженую и основательно сединой тронутую голову совсем невзрослые мысли. Буквально на мгновение пришли, потому как, в тот же миг неудобно за них Сергею Прохорову стало, а ещё через миг испытал он от них непомерную тоску, отчего и рванул выше. Теперь внизу были уже не только крыши одноэтажных бараков, но и нахлобучка трёхэтажного здания администрации. Впрочем, сверху никакой разницы: та же волнистая шиферная скука, те же жестяные, неизвестно кем погнутые желоба для дождевой воды.

Он ещё так и не осознал до конца всё, что с ним случилось, но был уже уверен: вниз, в локалку, в барак, в зону не вернётся. Не потому что там плохо, а потому что это уже совсем иное измерение, в котором ему, Сергею Прохорову места просто не предусмотрено. Случись чудо и объявись рядом собеседник, спросивший об этом, он бы только в лицо рассмеялся, ничего объяснять не стал. Зачем говорить о том, что и самому ещё непонятно?

Подумал об этом и тут же вспомнил: как вышел из барака в одной робе, не одев телаги, даже без фески, так и оказался налегке здесь наверху. Вдогон вспомнил, что даже сигарет не взял, хотя, вроде как, курить выходил. Вспомнил, тут же и забыл. И не потому, что всё это пустяками считал, а потому что всё это уже очень далёким и совсем чужим было. Совсем не соразмерным скучным рамкам «здесь» и «сейчас». Опять подумал про то измерение, в которое, независимо от желания, вернуться невозможно. Кстати, никакого холода наверху почему-то не чувствовалось, будто тело, утратив собственный вес, перестало ощущать и температуру окружающего пространства.

Что-то цветное размытое, но очень красивое и даже величественное в голове клубилось, но ни во что конкретное не выстраивалось, только настроение на новую ступень волнения поднимало. На долю секунды вспомнились люди, последнее время его окружавшие. И смотрун отрядный Коля Доктор, и Мультик с ушами своими смешными, и соседи по проходняку, и напарники по промке. И ещё кто-то, с кем чёрствую пайку неволи ломал. Но совсем не решительно вспомнились, будто кто их давно очень далеко отправил и в придачу за глухими оградами и плотными шторами спрятал. Отдельно коньяк, что Мультик специально для него из курка вытащил, в памяти всплыл. Тепло вспомнился: и вкусом, и запахом. С него, вроде как, всё и начиналось. Только и это как-то нечётко и совсем ненадолго. Снова понял: не в коньяке дело.

От конторского здания он двинул вправо, повторяя маршрутом контур тройной лагерной ограды. «Прощальный облёт!» – отметил про себя. Тут же осёкся: «Почему прощальный?» И признался себе, что опасается спугнуть, отпустить то сверхважное, обладателем и составной частью чего, кажется, уже стал. Или сглазить сам себя боялся?

Обнаружив внизу вышку, снизился, завис, увидел охранницу – плотную щекастую бабу в защитном бушлате с карабином. И она его увидела – выпучила глаза, разодрала в немом крике крашенный рот. Рванула, было, с плеча карабин, да передумала. Той же рукой, что не освободилась ещё от ружейного ремня, начала креститься.

«Забрать, что ли, у дуры ствол?» – мелькнула вечно актуальная мужская мысль. И тут же рассыпалась мелкими брызгами на фоне встречных ещё куда более актуальных вопросов: «Кого сейчас убивать, если и раньше любой повод, даже намёк на мокрое, краем обходил? Да и стрелять толком не умею... Наконец, куда с этой тяжестью по воздуху. Лишний груз... Мешать будет...»

Развернувшись спиной к вышке, он направился дальше. И в голову не приходило, что охранница сейчас могла карабином, согласно инструкции, по назначению воспользоваться. Тут бы и полёту конец. Только не до возни со стволом бабе было: на колени рухнула, колотила поклоны, а руку из ремня оружейного так и не выпростала. Впрочем, Сергею Прохорову она была уже совершенно безразлична. Возможно, через мгновение он и не помнил её вовсе. Ни её, ни палку её железную, способную смертью плевать.

Появилось желание подняться выше, что он легко исполнил. Теперь зона со всеми постройками представлялась просто россыпью серых коробков разных размеров и конфигураций. Исчезли и вышки с тройным забором, куда-то пропала вечно свежевзрыхлённая запретка, не видны были окружавшие каждый барак чёрные локалки. С высоты не замечалось ни мрачной унылости, ни агрессивной обречённости, ни прочих извечных составных атмосферы лагеря строгого режима. Наверное, точно также сверху могли выглядеть и промышленное предприятие, и культурный комплекс, и молодёжный лагерь отдыха. Выходило, расстояние и высота вводили в заблуждение, обманывали, маскировали истинное предназначение и суть сооружений.

Сейчас Сергею вспомнилось, как старые зеки рассказывали, будто над каждым лагерем непременно висит столб отрицательной энергии, рожденной самой неволей, бедами и страданиями людей, там обитающих. Понятно, что у такого столба ни цвета, ни запаха, что вовсе не заметен он для человека. Для человека не заметен, зато птицы хорошо этот столб ощущают, потому и облетают всякую зону стороной, словно на невидимую и непреодолимую преграду натываются. Красивая легенда! И не доказать её, не опровергнуть! Только не видно было Сергею Прохорову никаких птиц. Неужели всё воздушное пространство, а, значит, и то самое небо, одному ему сейчас принадлежало?

И другое вспомнилось: как порою после дождя над лагерем в небе радуга появлялась. Близкая, почти осязаемая. Сочная, будто каким мастером из неведомых слишком ярких материалов сработанная. Не все арестанты на такую красоту внимание обращали, равно, как не все люди имеют обыкновение голову поднимать, всё больше под ноги смотрят или в упор перед собою. Зато зеки, в такой момент вверх смотревшие, получали щедрый кусок дорогого и важного, известного только им, после чего легче всё, чем неволя отмечена, переносить. Даже поверье бытовало: когда радугу видишь, надо желание загадать, если успеешь – непременно сбудется!

Показалось Сергею Прохорову, что именно сейчас радуга должна появиться. Если так, то, выходило, что он с ней рядом окажется. Гораздо ближе чем, когда с плаца лагерного видел в небе это чудо, обозванное кем-то недалёким и, конечно, несидевшим, «атмосферным явлением». Получалось, по справедливости, с радугой встретиться он просто должен был.

Только радуга так и не появилась, хотя недавно дождь прокапал. «Не судьба!» – совсем не огорчился по этому поводу, тем более, что с желанием, которое полагается загадывать, и близко не определился. Последнее понятно. Разве можно какие желания человеку загадывать, когда он сам по себе, безо всяких пропеллеров и прочих штук по воздуху движется? Летит человек – всё этим сказано. «Скромней надо быть!» – в таких случаях говорят. «Знай край! Берега не путай!», – ещё конкретней призвали бы в этой ситуации к реальности бывалые зеки. Разве найдёшь, чем тут возразить?

Радугой небо не порадовало, зато птицы прямо по курсу обозначились и быстро приближались. Очень крупные, очень белые, в чёткий косяк выстроенные. Неспешно, с достоинством поднимали и опускали они свои крылья. Слышно было, как натужно хлопали эти крылья, как упруго шуршал рассекаемый ими воздух.

«Куда они? Откуда? Зимовать или, наоборот, гнёзда вить, птенцов выводить?» – совсем вскользь подумал поравнявшийся с ними летящий человек. Тут же понял, что это совершенно не важно, потому что текущего времени года он уже не представлял, просто не помнил, а уточнять было не у кого и не за чем. «Пристроиться за ними, а там видно будет», – решил бесхитростно. На всякий случай, присмотрелся к новым то ли попутчикам, то ли подельникам. Гуси ли это? Лебеди? Совсем не разобрался в пернатых Сергей Прохоров. Впрочем, ни на один из известных видов эти птицы не походили. И не в размерах дело. Слишком белого они были цвета. Такими белыми, что не было сомнения: даже ночью в темноте эти птицы будут прекрасно видны издалека.

«Случайно встретились? Или... Специально? За мной?» – новые, вполне по обстановке, вопросы обозначились. Сам же на них и ответил: «А хоть и за мной, хуже, чем раньше, не будет!»

В этот момент было уже окончательно ясно, что никакого «раньше», как и прочего прошлого, для Сергея Прохорова нет. Да и настоящее, у сказки напрокат взятое, свой яркий срок доживало, и, в размерах стремительно скукоживалось. Оставалось будущее. От одной только мысли о нём дух захватывало, да так, что даже встречного свежего и вкусного воздуха глотнуть не получалось.

На всякий случай, он зажмурился, и сразу испугался: вдруг, когда откроет глаза, то увидит перед собой гнутые шконарные прутья. Не открывая глаз, вытянул руки, пошарил над головой. Если спит в бараке, обязательно наткнётся на железяки своего или соседского шконаря. Не наткнулся! Ни на что не наткнулись его шарившие руки. Только упругие струи встречного воздуха разводили пальцы и трепали рукава чёрного арестантского лепеня.

Значит, не спит! И, чтобы убедиться в этом, вовсе не обязательно было открывать зажмуренные глаза.

Чёрный зверь, лежащий на боку

Не видно ни пасти его, ни клыков, ни когтей.

Виден только громадный, лоснящийся в дождь, запудренный горячей пылью в жару, прикрытый утоптаным снегом зимой, чёрный бок.

Громадный, чуть вибрирующий от дыхания бок хищника-гиганта, неспешно переваривающего свою вовсе не вегетарианскую добычу.

Чёрный зверь, лежащий на боку.

Громадный зверь.

Настолько громадный, что весь наш лагерь легко помещается на его округлом боку. При этом все, находящиеся в лагере, уверены, будто территория зоны – ровная, как футбольное поле.

Единственное место, где мы, арестанты, напрямую соприкасаемся с этим зверем – лагерьный плац.

Если верить умным словарям, плац – это военная площадь, место для развода войск. Только это с научной, сугубо вольной, ничего общего с нашей жизнью не имеющей, точки зрения.

Для нас плац – часть пространства, в котором мы отбываем срок. По сути, это часть территории нашей несвободы. Вся территория несвободы – зона, а плац – центральная её составляющая. Все общежития, или как принято здесь говорить – бараки, все лагерные помещения, от медпункта до комнаты дежурного «мусора»²¹ – всё сосредоточено в серых кубиках-корпусах. Кубики-корпуса сбиты в прямоугольник единого здания зоны.

С внешней стороны прямоугольника – другая жизнь, иное измерение. Там – воля, где всё разноцветное, где машины, женщины, где можно много чего делать, где можно много куда двигаться. Только нам путь туда пока заказан. А внутри прямоугольника – плац, где много чего, как и во всей зоне, запрещено, но можно хотя бы разговаривать и смотреть на небо.

Каждые наши сутки делятся между баракком (там спим, играем в карты, смотрим телевизор, читаем) и плацем (сюда выходим дважды в день на проверку, здесь гуляем, курим, общаемся с арестантами из других баракков).

Ещё мы ходим в столовую (не так часто, как это требует распорядок дня, ибо невелика радость от её посещения), и на «промку» (ещё реже, потому что сырьё завозят туда нерегулярно, а оборудование ломается часто).

И столовая и «промка», понятно, расположены в тех же самых кубиках-корпусах, что образуют собой прямоугольник. Так же понятно, что наш путь туда лежит через тот же плац.

Именно на плацу арестант проводит добрую половину своего срока. Выходит, большую часть срока арестант проводит на теле зверя. А зверь этот питается нашей энергией, нашим здоровьем, нашей жизненной силой. Мы, арестанты, – пища для этого зверя. Кто-то – сегоднешняя. Кто-то – завтрашняя. Кто-то – оставленная «на потом», в виде резерва продовольствия на голодный день. Чтобы забирать наши силы и здоровье, этому зверю не нужно пускаться в ход клыки и когти. Всё, что ему требуется, он способен забирать на расстоянии. Арестанту достаточно просто находиться на плацу, чтобы стать жертвой, добычей для этого зверя.

Население колонии прекрасно помещается на плацу во время общих построений. Ещё и место остаётся. Важная деталь – мы, арестанты, на этом плацу теряемся, с ним почти сливаемся. Это потому, что плац – чёрный, и мы во всём чёрном. Чёрные «телаги»²², чёрные роботы,

²¹ Мусор (тюремн.) – сотрудник администрации исправительного учреждения.

²² Телага (тюремн.) – телогрейка, бушлат, часть обязательного арестантского обмундирования, выдаваемого в местах заключения.

чёрные «коцы»²³. А ещё – чёрные круги под глазами (наше здоровье нас на воле дожидается), чёрная щетина на щеках (бриться в здешних местах хлопотно и мучительно), чёрные корешки сгнивших зубов, что при разговоре обнажаются во рту у каждого второго (лечить зубы здесь ещё сложнее, чем бриться).

На первый взгляд, плац – просто территория: по периметру – корпуса-кубики, в середине – люди-человеки. Но так только кажется. Ведь у нас ничего, кроме этого плаца нет, за его пределы нам – ни-ни! Самое главное, что так будет продолжаться ни день, ни месяц, а годы, для некоторых – очень долгие годы. Когда эту истину арестант в своём сознании переварит, «перекубатурит», как здесь говорят, – вот тогда и понятие «плац» для него истинным смыслом наполняется. Большим, в чём-то философски серьёзном, в чём-то мистически-жутким смыслом. Если ещё и про чёрного зверя вспомнить, частью которого этот плац является, вовсе не по себе становится.

И «мусора» частенько на плацу бывают. Только в их жизни это место совсем другую роль играет. Плац – часть их службы, часть работы. Они сюда регулярно приходят, но также регулярно они отсюда и уходят. Уходят, значит, возвращаются на территорию свободы. Там другие декорации, другие цвета, другие запахи. А в нашей жизни плац присутствует все двадцать четыре часа ежесуточно. Никакой смены декораций. Никаких других цветов. Никаких иных запахов. Даже ночью, когда ты в бараке, – всего два шага, только подошёл к окну, и ... вот он, тут, как тут, рядом. Большой и чёрный. Кажется, что ночью он ещё больше по своей площади и ещё чернее. Именно ночью, особенно в мелкий, морозящий дождь, вспоминаешь, что плац – это не кусок земли, задрапированной асфальтом, а часть туши лежащего на боку и тяжело дышащего чёрного зверя.

Кстати, похоже, будто «мусора» с чёрным зверем заодно, точнее, они у него в услужении, на побегушках, в «шнырях». Уверен, что этот зверь беззвучным импульсом отдаёт им юридически приказы, кого шмонать в самом неподходящем месте, кого вызвать в «дежурку»²⁴ и «подмолодить»²⁵, на кого накатать рапорт с трафаретным повторением известных формулировок («не приветствовал представителя администрации», «не выполнил команду “Подъём!”», «курил в непопозволенном месте» и т. д.). Беспрекословно и сиюминутно выполняются эти приказы. Слуги не смеют ослушаться чёрного зверя.

Сверху наш плац видят птицы. Недалеко от зоны расположено то ли озеро, то ли болото, то ли и то и другое вперемешку. Потому и пернатые обитают в округе соответствующие – гуси, утки, ещё какие-то водяные голенастые, как фотомодели, мне, городскому жителю, неизвестные, птицы. Только пролетающие над зоной, имеющие возможность смотреть на нас сверху вниз, птицы – исключение. Наблюдения арестантов многих поколений: все маршруты пернатых обходят лагерь стороной, потому что от него поднимается мощный столб отрицательной энергии, что рождён бедами людей, здесь находящихся. Может быть, и не концентрированная беда восходит вверх с территории нашей зоны, а смрадное дыхание чёрного хищника поднимается столбом, и птицы, чувствуя недоброе и нездоровое, повинувшись инстинкту самосохранения, облетают это место стороной? Тогда, выходит, птицы почти наши союзники, наши доброжелатели? А вот это слишком! У них – крылья, у них – воздуха и неба сколько угодно. У нас – зона, вечные и сплошные «нельзянеположено!». Не понять нам друг друга.

Арестанты и вечные их недоброжелатели – «мусора» – не единственные живые существа, то и дело появляющиеся на не менее живом теле лагерного плаца. На право владения этой площадью дерзко претендуют ещё и ... кошки.

²³ Коцы (тюремн.) – арестантские ботинки.

²⁴ Дежурка, вахта (тюремн.) – комната дежурного представителя администрации в зоне.

²⁵ Подмолодить (тюремн.) – поколотить, избить.

Кошки зоны – это что-то особенное. Порою кажется, что характеры их в равной степени копируют как манеры арестантов, так и повадки тех, кто нас воспитывает и охраняет – то есть «мусоров». Ещё подозреваю, что каждая из лагерных кошек просто нагло уверена, будто плац, как и всё находящееся в кубиках-корпусах, его окружающих, принадлежит им, кошкам. Соответственно, люди, независимо от того, обряжены ли они в чёрные арестантские доспехи, или в серую амуницию сотрудников администрации – здесь что-то вроде временных, снисходительно допущенных постояльцев или бесправных транзитных пассажиров.

Что бы ни творилось на плацу (утренняя и вечерняя проверка, уборка, общее построение по случаю прибытия или отбытия очередной комиссии и т. д.), лагерные кошки в любой момент под любым углом и в любом направлении могут беспрепятственно пересечь его территорию, в любом месте остановиться, чтобы переброситься между собой парой ласковых, а иногда и неласковых «мяу», сделать свой туалет, справить естественные потребности.

Демонстрируя пренебрежительное отношение ко всем и всему, кошки порой проявляют невиданный цинизм. Чего стоила одна, имевшая место совсем недавно, сценка, когда на свободном пяточке плаца на глазах у всего, построенного в скорбные чёрные квадраты, населения лагеря лучшему производителю зоны коту Лёве приспичило заняться любовью с трёхцветной Муркой.

Ладно бы, если лагерь построили для обычной проверки. На этот раз арестантов выгнали из бараков, чтобы обязать послушать представителей очередной комиссии, целую неделю что-то проверявших в нашей зоне. Толстые полковники и подполковники что-то вещали с наспех сколоченной, обтянутой красной (в тон их лицам) материей трибуны, а пушистый красавец, урча и подвывая, справлял своё детородное удовольствие.

Мне показалось, что эти тёртые службой и жизнью монстры тюремного ведомства как-то робели от всего, что творилось в двух метрах перед трибуной. Потому и старательно отводили взгляды в сторону от кошачьего сексодрома.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.